

Предисловие

Я простодушно полагал, что этот роман не нуждается в предисловии... Имея обыкновение излагать свои мысли полным голосом и недвусмысленно обрисовывать в своих произведениях даже мелочи, я надеялся, что буду понят и судим без предварительных разъяснений. Оказывается, я ошибся.

Критика встретила эту книгу яростным, негодующим воем. Некоторые благонамеренные люди из столь же благонамеренных газет брезгливо поморщились и, взяв ее щипчиками, бросили в огонь. Даже мелкие литературные газетки, ежедневно оповещающие о том, что произошло в альковах и отдельных кабинетах, зажали носы, вопя о зловонии и гнили. Я отнюдь не жалуюсь на такой прием; наоборот, я в полном восторге от сознания, что у моих собратьев столь девически чувствительные нервы. Спору нет, произведение мое — достояние моих судей, и если они находят его тошнотворным, я не имею права против этого возражать. Но я сетую на то, что ни один из стыдливых журналистов, которые краснели при чтении «Терезы Ракен», по-видимому, не понял этого романа. Если бы они его поняли, они, быть может, покраснели бы еще гуще, зато я по крайней мере испытывал бы теперь чувство внутрен-

него удовлетворения от мысли, что действительно вызвал у них отвращение. Нет ничего досаднее, как слышать крик честных писателей о разврате, в то время как ты глубоко убежден в том, что они кричат, даже не зная о чем.

Следовательно, мне надлежит самому представить свое произведение моим судьям. Я сделаю это в нескольких строках, с единственной целью — избежать в дальнейшем каких-либо недоразумений.

В «Терезе Ракен» я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остановился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим вершам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти. Тереза и Лоран — животные в облике человека, вот и все. Я старался шаг за шагом проследить в этих животных глухое воздействие страстей, власть инстинкта и умственное расстройство, вызванное нервным потрясением. Любовь двух моих героев — это всего лишь удовлетворение потребности; убийство, совершаемое ими, — следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости уничтожения ягнят; наконец, то, что мне пришлось назвать угрызением совести, заключается просто в органическом расстройстве и в бунте предельно возбужденной нервной системы. Душа здесь совершенно отсутствует; охотно соглашаюсь с этим, ибо этого-то я и хотел.

Теперь, надеюсь, становится, понятным, что я ставил перед собою цель прежде всего научную. Создав два своих персонажа, я занялся постановкой и решением

определенных проблем: так, я попытался уяснить странное взаимное тяготение друг к другу, возможное у двух совершенно различных темпераментов; я показал глубокие потрясения сангвинической природы, пришедшей в соприкосновение с натурой нервной. Всякий, кто прочтет этот роман внимательно, убедится, что каждая его глава — исследование любопытного психологического казуса. Словом, у меня было одно-единственное желание: взяв физически сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, обнажить в них животное начало, больше того — обратить внимание только на это животное начало, привести эти существа к жестокой драме и тщательно описать их чувства и поступки. Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому как хирурги исследуют трупы.

Согласитесь, что по окончании такого труда, когда еще находишься под впечатлением суровых радостей, связанных с поисками истины, очень тяжело слышать упреки в том, будто единственной твоей целью было изображение непристойных картин. Я оказался в положении живописца, который пишет нагую натуру, не испытывая при этом ни малейшего соблазна, и который глубоко изумлен, когда некий критик заявляет, что он возмущен изображенной на картине наготой. Пока я писал «Терезу Ракен», я забыл весь свет, я с головой погрузился в точное, тщательнейшее изображение жизни, всецело отдавшись исследованию человеческого механизма, и уверяю вас, что перипетии жестокой любви Терезы и Лорана не представляли для меня ничего безнравственного, ничего такого, что может поощрить низменные страсти. Человеческое начало моих моделей исчезло для меня так же, как оно исчезает для живопис-

ца, когда перед ним лежит обнаженная женщина и когда он помышляет только о том, как бы лучше изобразить ее на холсте, правдиво передав очертания и колорит ее тела. Поэтому я был крайне изумлен, когда услышал, что мое произведение называют лужей грязи и крови, сточной канавой, мерзостью и тому подобным. Я знаком с приемами критики — я сам был критиком, — но единодушие нападок, должен признаться, несколько смутило меня. Неужели среди моих собратьев не нашлось ни одного, который если бы и не защитил, то по крайней мере объяснил бы мою книгу. Среди голосов, кричавших: «Автор «Терезы Ракен» — жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены», — я тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: «Да нет, этот писатель просто исследователь, который хоть и погрузился в гушу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа».

Заметьте, что я отнюдь не требую от прессы сочувствия к произведению, которое, как она утверждает, оскорбительно для ее утонченных чувств. У меня нет столь высоких притязаний. Я только удивляюсь, что мои собратья объявили меня каким-то литературным мусорщиком, причем это сделали люди, которым, казалось бы, достаточно нескольких страниц, чтобы понять намерения писателя, и я ограничиваюсь тем, что скромно прошу их в дальнейшем воспринимать меня только таким, каков я есть, и судить меня только за то, что я собою представляю.

А между тем не трудно было понять «Терезу Ракен», стать на почву наблюдений и анализа, указать на действительные мои ошибки, вместо того чтобы во имя мо-

рали кидать мне в лицо комки грязи. Для этого достаточно было известной понятливости и некоторых общих идей, необходимых для критика. Упрек в безнравственности не доказывает в области науки решительно ничего. Не знаю, безнравствен ли мой роман, — признаюсь, я никогда не задавался целью сделать его ни более, ни менее целомудренным. Знаю только, что у меня отнюдь не было намерения наполнить его той мерзостью, какую находят в нем люди добродетельные; что каждую сцену, даже самую острую, я писал, руководствуясь лишь научным интересом. И я бросаю моим судьям вызов — пусть они укажут мне хотя бы одну действительно непристойную страницу, написанную в расчете на читателей тех розовых книжечек, тех рассказов о будуарах и закулисных тайнах, что печатаются в двух тысячах экземпляров и горячо рекламируются теми самыми газетами, у которых правдивость «Терезы Ракен» вызвала тошноту.

Несколько оскорблений, уйма благоглупостей — вот все, что я прочел до сегодняшнего дня о моем произведении. Я говорю это здесь спокойно, как сказал бы другу, который в непринужденной беседе спросил бы меня о том, что я думаю об отношении ко мне критики. Один очень талантливый писатель в ответ на мою жалобу на то, что я не нахожу сочувствия у критики, мудро ответил мне: «У вас есть существенный недостаток, который закроет перед вами все двери: вы и двух минут не можете поговорить с дураком, не дав ему понять, что он дурак». Вероятно, так оно и есть; я сознаю, что врежу себе, когда обвиняю критику в непонимании, и все же я не могу скрыть презрения, которое вызывает у меня ее узкий кругозор и суждения, высказываемые вслепую,

при полном отсутствии какого-либо метода. Я имею в виду, разумеется, критику повседневную, ту, что судит, вооружившись всеми литературными предрассудками глупцов и не умея стать на общечеловеческую точку зрения, какая требуется для понимания человеческого произведения. Никогда еще не наблюдал я подобной неуклюжести. Несколько ударов кулаком, адресованных мне ничтожными критиками в связи с «Терезой Ракен», угодило, как всегда, мимо. Критика бьет обычно невпопад, она восхваляет выверты какой-нибудь нарумяненной актрисы и тут же вопит о безнравственности в связи с физиологическим исследованием, ничего в нем не поняв и не желая понимать, и бьет напрапалую, едва только ее трусливая глупость подскажет ей, что надо бить. Досадно оказаться наказанным за проступок, в котором ты не виноват. Временами я жалею, что не написал непристойностей; мне кажется, я был бы рад заслуженной взбучке, если бы она обрушилась на меня вместе с тем градом ударов, которые, как черепица с крыши, бессмысленно сыплются на мою голову неведомо за что.

В наше время найдется всего-навсего два-три человека, которые могут прочесть книгу, понять ее и вынести о ней суждение. Я охотно выслушаю их замечания, ибо убежден, что они не станут высказываться, не вникнув в мои намерения и не оценив плодов моих стараний. Они не стали бы произносить пустопорожних громких слов о морали и литературном целомудрии; они признали бы за мною право выбирать — в наше время, когда искусство свободно — те сюжеты, которые мне по душе, и стали бы требовать от меня лишь добросовестности, зная, что достоинству словесности вредит только глупость. И конечно, их не удивил бы научный

анализ, который я пытался применить в «Терезе Ракен»; они увидели бы в нем современный метод, орудие всестороннего познания, которым наш век так настойчиво пользуется для того, чтобы проникнуть в будущее. Каковы бы ни были их окончательные выводы, они нашли бы вполне допустимой мою отправную точку — изучение темперамента и глубоких изменений в человеческом организме под влиянием среды и обстоятельств. Тогда я оказался бы перед лицом истинных судей, людей, которые добросовестно, без ребячества и ложного стыда добиваются истины и не считают себя обязанными выказывать отвращение при виде живых обнаженных тел, служащих предметом исследования. Искреннее изучение, как огонь, очищает все. Конечно, перед лицом судилища, о котором я сейчас мечтаю, мое произведение окажется весьма посредственным; я просил бы этих критиков отнестись к нему с беспощадной строгостью, мне хотелось бы, чтобы оно вышло из их рук испещренным пометками и помарками. Тогда я по крайней мере испытал бы глубокую радость от сознания, что меня критикуют именно за то, что я пытался сделать, а не за то, чего я не делал.

Мне чудится, будто я уже теперь слышу приговор этой истинной критики, критики методической и натуралистической, которая обновила науку, историю и литературу: «Тереза Ракен» — исследование случая чересчур исключительного; драма современной жизни проще, в ней меньше ужасов и безумия. Такие явления не должны стоять на первом плане в книге. Желание ничего не упустить из своих наблюдений привело автора к тому, что он подчеркивает любую деталь, а это придало произведению в целом еще большую напряжен-

ность и остроту. С другой стороны, его стилю не достает той простоты, какой требует аналитический роман. Следовательно, чтобы написать хороший роман, писателю теперь следовало бы наблюдать общество с более обширной точки зрения, описывать его в более многочисленных и разнообразных аспектах, а главное — пользоваться языком ясным и естественным».

Я намеревался в нескольких строках ответить на нападки, возмущающие своей наивной недобросовестностью, а между тем замечаю, что пускаюсь в рассуждения с самим собою, как это случается со мною всегда, когда я слишком долго держу в руках перо. Я умолкаю, зная, что читатели не любят этого. Если бы у меня хватило воли и досуга написать манифест, я, пожалуй, попытался бы защитить то, что один журналист, говоря о «Терезе Ракен», назвал «гнилой литературой». Впрочем, к чему защищать? У группы писателей-натуралистов, к которой я имею честь принадлежать, достанет мужества и энергии, чтобы создать крепкие произведения, в самих себе несущие свою защиту. Только предвзятость и ослепление определенного рода критики может вынудить романиста написать предисловие. Раз уж из любви к ясности я совершил ошибку — написал предисловие, то прошу за это прощения у умных людей, которые хорошо видят и не нуждаются в том, чтобы среди бела дня для них зажигали фонарь.

Эмиль Золя

I

В конце улицы Генего, если идти от набережной, находится пассаж Пон-Неф — своего рода узкий темный проход между улицами Мазарини и Сеной. Длина пассажа самое большее шагов тридцать, ширина — два шага; он вымощен желтоватыми истертыми разъехавшимися плитами, вечно покрытыми липкой сыростью; стеклянная его крыша, срезанная под прямым углом, совсем почернела от грязи.

В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу. А в ненастные зимние дни, туманными утрами, с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак — мрак беспросветный и гнусный.

На левой стороне пассажа ютятся сумрачные низенькие придавленные лавочки, из которых, как из погреба, несет сыростью. Здесь расположились букинисты, продавцы игрушек, картонажники. Выставленные вещи, посеревшие от пыли, вяло дремлют в сумраке; витрины, составленные из мелких стеклышек, отбрасывают на товары расплывчатые зеленоватые отсветы; за витринами еле видны темные лавочки — какие-то

мрачные каморки, в которых движутся причудливые тени.

Справа по всей длине пассажа тянется стена, на которой лавочники пристроили узкие шкафчики: здесь на тонких полочках, выкрашенных в отвратительный коричневый цвет, лежат какие-то невообразимые товары, выставленные лет двадцать назад. В одном из шкафов разместила свой товар торговка фальшивыми драгоценностями: колечки по пятнадцать су, которые заботливо разложила на голубом бархатном щитке в ларце из красного дерева.

Над витринами висит стена — черная, кое-как оштукатуренная, словно покрытая проказой и вся исполосованная рубцами.

Пассаж Пон-Неф не место для прогулок. Им пользуются, только чтобы сократить дорогу, чтобы выгадать несколько минут. Тут проходят люди занятые, которым важно поскорее добраться до места. Здесь видишь подмастерьев в рабочих фартуках, мастериц с их изделиями, мужчин и женщин со свертками под мышкой; здесь видишь стариков, которые бредут в унылом сумраке, льющемся со стеклянной крыши, и ватагу ребятишек, только что вырвавшихся из школы, — они пользуются случаем пошуметь и изо всех сил топают деревянными башмачками по каменным плитам. Весь день тут не умолкает дробное постукивание торопливых шагов, и эти звуки раздражают своей беспорядочностью; никто здесь не останавливается, никто не беседует; каждый бежит по своим делам, понунив голову, торопится и даже не бросит взгляда на лавочки. Торговцы с недоумением взирают на прохожего, который чудом задержится перед их витриной.

По вечерам пассаж освещается тремя газовыми рожками, вставленными в массивные квадратные фонари. Фонари эти, подвешенные к стеклянной крыше, бросают на нее светлые рыжеватые блики и излучают круги бледного трепещущего света, готового вот-вот померкнуть. Тогда зловещий пассаж уж совсем кажется каким-то логовом: по каменным плитам стелются длинные тени, с улицы долетают порывы сырого ветра, — здесь чувствуешь себя словно в узком подземелье. Торговцы вынуждены довольствоваться слабыми отблесками фонарей, падающими на их витрины; только в лавках хозяева зажигают лампы с абажурами — они ставят их на конторку, — и тогда прохожие могут различить, что делается в этих каморках, где и среди бела дня царит ночь. В темном ряду витрин выделяется ярко освещенное окно картонажного мастера: две лампы с рефлекторами прорывают мрак желтыми язычками пламени, — а по соседству свеча, воткнутая в резервуар старой лампы, зажигает яркие звездочки в ларчике с фальшивыми драгоценностями. Торговка дремлет, прикорнув в уголке своей будочки, спрятав руки под шаль.

Несколько лет назад против этой торговки находилась лавочка, сколоченная из досок и выкрашенная в бутылочно-зеленый цвет, причем из всех ее щелей просачивалась сырость. На вывеске — длинной узкой доске — черными буквами было выведено: «Галантерея», — а на стеклянной двери красными буквами значилось: «Тереза Ракен». Справа и слева от двери виднелись глубокие витрины, выложенные синей бумагой.

Днем, в неясном полусвете, взгляд мог различить только витрину.